

Теннадий Дорожкин



РАССКАЗЫ

ЖУК ВРЕМЕН

Таинственна чернота Фурмановского сада за полночь. Несколько тусклых разноцветных лампочек горят над опустевшим загоном танцплощадки, но свет их не достигает земли, ничего не разглядишь под ними, как под звездами.

Откуда-то сверху, может быть с этих звезд, к ногам сыпется желтый снег, отцветают акации. Лето только началось. А танцы отгремели барабанами и гитарами полчаса назад; в пять минут опустел сад, чуть дольше задержались музыканты, упаковывая инструменты в чехлы и футляры. И вот тишина... Никого... Впрочем, такого быть не может, и на каждой лавочке под сиренью вздохи, поцелуи... То же на лавочках под акациями, кленами, даже под памятником грамотному чапаевскому политруку. Должно быть, здесь где-то и Наташка, неверная, капризная... Пианистка она и есть пианистка.

Весь вечер она не смотрела на Женьку, крутилась с каким-то пожилым, лет двадцати пяти, пижоном в лакированных туфлях, прикуривала от его зажигалки, пила с ним, прямо из горлышка бутылки, липкую мадеру, заедала «каракумами» и еще до окончания танцев ушла вместе с этими лакированными туфлями.

Женька не ревновал; они так и договаривались с Наташкой, что будут всегда свободны и не станут требовать друг от друга физической верности, так они тогда называли это. «Мы любим друг друга, – говорила Наташка, – а в любви телесная близость – не самое важное, даже вовсе не важное... Обладание телами – рабство. Пусть тела будут свободны, тем острее мы будем чувствовать близость душ». Начитанная!.. Но так получалось, что Женьке ни разу не довелось воспользоваться этим договором, а Наташка злоупотребляла им. Конечно, было обидно.

Женька долго стоял у опустевшей танцплощадки. Может быть, едва надеялся он, Наташка вернется? Скажет: «...кое-как отделалась от этого типа!» – и потянет за собой, в тот дощатый сарайчик, где за поленницей припасенных на зиму дров был устроен топчан?

Нет, не вернулась она.

Он медленно пошел по темной аллее. Но что-то остановило его. Он огляделся. Нет, в самом деле, есть что-то таинственное в этом саду имени Фурманова. Что-то огромное, невидимое, управляющее всем временем, всеми судьбами, всеми счастьями и несчастьями, всеми садовыми головами этого садового пространства. Женька не мог понять, откуда взялось это чувство, но оно было. Может от звезд,



шелеста листьев отцветающих акаций? Словно подтверждая это, откуда-то из черноты вырвался силло гудящий майский жук. Еще невидимый, он стал носиться вдоль аллеи, как истребитель, выбирая цель для точной атаки. И вдруг, как пуля на излете, упал к ногам Женьки.

Женька подобрал его, полюбовался им, таким основательным, будто отлитым из таинственной темноты сада... «Как летающий броневик! – сказал Женька и, немного поразмышляв, посадил жука в спичечный коробок. – А теперь ты пленник, посиди-ка чуть-чуть...»

...Тридцать лет прошло. Тридцать лет пробыл в неволе жук. Вот он лежит на подоконнике – темно-коричневый, блестящий, словно живой – и пугает Светлану, непоседу, трусиху.

– Жук летает? – спрашивает она у деда... «Летает!» – врет дед Евгений Леонидович Иванов и вдруг сам верит, что жук еще может расправить крылья и взлететь в июньскую тишину шестьдесят первого года.

– Летает, летает! – повторяет он и думает без особой горечи, что время идет, но ничего не меняется, только почему-то с каждым годом все короче становятся дни, идут на убыль, будто заканчивается короткое лето и приближается неизвестная долгая зима. Может, это как-то связано с ритмом сердца, которое бьется все чаще и тревожней? А может, остывает солнце, наступает четвертый ледниковый период, и скоро дней не будет вовсе, а установится бесконечная ночь? Ответа нет. Он смотрит на подоконник, где лежит лакированный жук, переводит взгляд через залитое дождем стекло на улицу – там уже какой день и льёт, и льёт, и льёт; неуютно, скучно, размыло дороги, где-то снесло мост – может, поэтому светланкина мать уже третьи сутки не объявляется.

Он вздохнул, еще раз сказал внучке:

– Жук летает, еще как летает! – и зажужжал силло, громко, очень похоже: – Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-у-у-у...

Светлана испуганно убежала за дверь, залилась слезами. Сквозь всхлипы пропищала:

– Деда, деда, не летай! Не летай!..

– Не буду, не буду больше! – ответил дед.

И больше не летал.

ТАЙНА

Иванов слагал стихи:

Жизнь ампутирована,
 светлой ночью нет ни слова правды,
 Ночью мертвой нет ни единой слезы...
 Убегает под землю река, ну пока!..
 Вот легкая, без жестов, рука, на века...
 Колодец тем глубже, чем надежней секрет,
 Проживет ли эпоха без бед на обед?

Он сочинял и прозу, писал от первого лица. Ему казалось, что только так можно мощно и полно выразить то, что внутри него самого. Короткое местоимение «я» всегда представлялось только началом страстного, глубокого монолога, исповеди, сжигающей душу до дна. Писать же от третьего лица – предательство по

отношению к самому себе. Грамматические формы второго лица – просто ложь, ничего иного. Нет объекта интереснее «я», уж конечно не «мы».

В рукописи Иванов никогда не ставил значка начала абзаца, ведь тогда заветное местоимение оказывалось бы позади этого безликого, пустого обозначения. Он начинал свои рассказы с описания погоды: «Я всегда забываю, что на улице сентябрь, дождь, я так свыкся с тем, что нет солнца, пыли...» Или: «Я люблю осень, холодный ветер, непроницаемую дождливую ночь... Мне кажется, что ветер обнажает не только печальные мокрые деревья и полощет выцветшие флаги над государственными домами, – осенний ветер открывает что-то и в моей памяти. Точно, точно, именно в сентябре я встретил Марию...»

По Иванову выходило, что никогда на земле не было ни лета, ни весны – только осень, ожидание зимы. Может, потому, что в комнате, где сочинял он, не было окон. Этот узкий, высокий и холодный параллелепипед с деревянным скрипучим полом был некогда частью коридора огромной старинной квартиры, ныне коммунальной. До революции в квартире жил не то инженер, не то врач, вскоре расстрелянный, и его жена – тоже расстрелянная ради социальной справедливости, и их дочь, успевшая сбежать, кажется, в Китай. Во время революции и гражданской войны здесь был какой-то штаб; штабисты любили палить из наганов в высокий потолок, может, от тоски, – следы пуль были заметны и теперь. Потом в квартире поселился начальник в сером кителе, серых галифе, с желтым портфелем, но и за ним как-то приехали. В мирные скучные времена сюда заселились четыре семьи – десяток баб в засаленных халатах, чуть меньше мужиков в пижамных штанах и растянутых майках и не поддающееся счету количество детей – на трехколесных велосипедах, на горшках, в люльках. Мужики пили, бабы рожали, дети орала – квартирный кризис становился все острее. И тогда пришла в чью-то распорядительную голову счастливая мысль отгородить часть коридора – получится еще одна комната. И получилась. Площадь – десять с половиной метров, вполне подходящая для «молодого» пятидесятилетнего писателя, поэта осени, живописца дождей. Высота до потолка – три с половиной метра; тусклая лампочка, висящая на грязной скрученной косичке электропровода, едва освещает только потолок, а внизу всегда мрак, поэтому взгляд Иванова сам собою тянется кверху, к пыльному свету, и эта постоянная задранность головы время от времени наводит на мысль о петле. Иванов пугается и успокаивает себя: «До этого потолка с веником-то – паутину обмахнуть – не доберешься, не то что с веревкой!..» Но все равно страшно. Светлый потолок притягивает, там смерть и жизнь, там в засадах сидят пауки, там вращаются вокруг стеклянного светила поздние злые мухи, там кружатся головы таинственных квартирных мотыльков.

Иванов, когда не сочинял рассказы и стихи, лежал на раскладушке, из темной глубины наблюдая за многообразными формами электрической жизни. Ему не дано было право распоряжаться чередованием света и тьмы, потому что его лампочка была только частью коридорного освещения и выключатель был расположен где-то у общей входной двери, и каждый коммунальный жилец, вернувшись с работы или из скобяного магазина, сняв печальные октябрьские галоши, мог по инерции щелкнуть выключателем, забыв, что, экономя коридорное электричество, он погружает в непроглядную ночь обиталище Иванова. Так жильцы и делали. Иванов смирился, утомившись бороться за свет, ведь в конце концов, думал он, ни один человек не может продлить день или остановить ночь.

Он мог бы и вообще обойтись без электричества, но ему иногда нужно было заносить на бумагу то, что собиралось у него в голове из раскладушечных коротких снов, наблюдений за пауками, обрывков соседских разговоров, воспоминаний об осени.

Он не всегда знал, какой осенний месяц на дворе – май или февраль. По частоте далеких утробных рычаний унитаза он догадывался: август, овощи, желудочные расстройства; по возбужденной коридорной беготне, перетаскиванию громяхощей кастрюльной утвари знал: апрель, дачное кочевье; январь был самым тихим, придавленным – даже дети орали глуше, даже пьяницы осторожнее звякали пустыми бутылками, собирая их в мешки для обмена на полные.

Иванов иногда покупал водку, но даже два-три глотка ее разрушали жизнь. Ему хотелось тогда покинуть раскладушку и присоединиться на кухне к мужикам в пижамных штанах, играющим в подкидного дурака без перерыва с пятого марта пятьдесят третьего года. Он так и поступал прежде, принося с собой бутылку, держа ее за горлышко, как противопехотную гранату. Пижамная пехота поначалу принимала его в свои ряды, но на закуску он норовил притащить залитую дождями страничку экзистенциальной прозы или продрогший от ноябрьских сквозняков верлибр:

Шаг тяжелый не слышим. Не дышим, не живем!

Счет бездушный, послушный, ненужный все ведем.

Вавилон не разрушен! Мир ветрами простужен.

Мы идем и идем, и вопросов не знаем, и ответов не ждем...

Его прогнали от карточного стола, сказали: «Забери свою кислую водяру!» Он не стал надоедать, а когда изредка случалась водка, заворачивал бутылку на американский манер в кулак и шел в сквер имени Чапаева, садился на полосатую садовую скамейку у самого памятника герою сражений и анекдотов и, не торопясь, пил прямо из горлышка и обязательно встречал здесь замечательных собеседников. Чаще всего это были старики, глухие тетери, выгуливающие собак и правнуков. И те, и другие охотно слушали Иванова.

Но это было редко.

Еще реже случался праздник. В прошлом году областная газета под рубрикой «Для чтения на досуге» напечатала его стихотворение «Над мертвой землей», причем в заметке, рассказывающей об авторах рубрики, он был назван «нашим оригинальным писателем». Иванов хотел подарить один номер газеты Марии, постучал в дверь под номером три, но она не открыла, сказала: «Оставь меня в покое, прошу тебя!» Он еще постучал, и тогда вышел Вася Гришак, оттеснил его от двери большим мягким животом: «Катись ты к едрене фене со своими стишками!..» Но газету взял, так что неизвестно, прочитала ли Мария стихотворение с тайным ей посвящением. Но все равно хорошо публиковаться.

Мария переехала из комнаты Иванова в комнату номер три, к Гришаку, не так давно, осенью. Как раз на потолке расплылось огромное рыжее дождевое пятно, самое большое из всех. Тогда же сверху упал пласт штукатурки, разбил изумрудную, бутылочного стекла, цветочную вазу на комод, Мариину любимую. Она заплакала, сказала, всхлипывая:

– Не могу больше терпеть, не могу!..

Он не понял, бросился утешать:

– Ну, подумаешь, какая-то вазочка!..

– При чем тут вазочка?! – страшно закричала она.

– Тебе потолок жалко?

Она огляделась вокруг: облупленные стены, прикрытые двумя одинаковыми ковриками с изображенными на них мутными замками и оленями, тяжелый, кажется, гранитный, комод – приданое Марии, шаткая железная кровать на колесиках, больше похожая на могильную ограду, чем на ложе для любви и сна, платяной шкаф – деревянная Пизанская башня, два табурета с отверстиями для их переноски с места на место, и дубовое канцелярское кресло – самая надежная вещь в комнате. И все. Впрочем, на самой из ободранных стен висела еще картина в некрашеной багетной раме, подаренная некогда Иванову вечно пьяным художником Малыгиным. Картина была странная, на ней ничего не было, почти ничего. Малыгин на здоровенном холсте, на котором уместился бы и Днепрогэс, изобразил голую желтую равнину – пустую, уходящую за далекий, едва угадывающийся горизонт. На переднем плане картины ветер рябил желтую воду мелкой лужи, около нее на мокрой глине отпечатан след босой ноги.

Малыгин, даря живописное произведение, заинтриговал Иванова:

– На картине я изобразил и тебя, милый... Смотри внимательнее, и обнаружишь здесь свои растопыренные уши...

Теперь, когда Мария ушла к Гришаку и перетащила в комнату номер три комод, кровать, шкаф, табуреты и коврики, у Иванова остались только картина, раскладушка и кресло. А также много времени, для того чтобы попытаться понять, что же все-таки Мария не смогла терпеть. Он часто смотрел на пустое желтое полотно и пытался найти себя, но ничего не получалось.

Он как-то опять постучал в дверь номер три.

– Кто там еще? – спросила она, не открывая двери.

– Я!..

– О Боже!

– Маша, ты почему ушла от меня?

Он услышал, как она всхлипнула за дверью.

– Мне неловко напоминать тебе, – продолжил он, – но мы с тобой в некотором смысле муж и жена... Наш брак зарегистрирован...

Она всхлипнула громче.

– Я люблю тебя, даже больше – я привык к тебе...

Она распахнула дверь, встала на пороге, уперев руки в бока, – трюфевая дама.

– Я четырнадцать лет на курорте не была! – сказала негромко, но ясно. – Почему?

– Почему? – спросил он.

– Я девять лет ношу один плащ! Он надоел мне, как хронический насморк...

– Ты захворала?..

– Не издевайся! – закричала она и отмахнулась от возникшего было Гришака. – Я сто лет не была в театре, я никогда не пробовала черной икры, не пила «Мартини», никогда мужик не помогал мне снимать чулки, я всю жизнь раздвигалась сама...

– Неужели это так сложно? – успел вставить Иванов.

Она сверкнула глазами:

– У меня не осталось ни одной подруги! Почему? Вместо детей я считаю аборт...

К интересному разговору приоткрылись двери всех комнат.

– Я написал новый рассказ, посвятил его тебе, – сказал он.

Она захлопнула дверь, и для него так и осталось тайной, почему она ушла от него. И почему оставила кресло-трон, единственное из ее приданого, что не качалось, не скрипело, не кренилось?

«Я люблю смотреть в ночное окно, когда за стеклом не видно ничего – чернота, холод, – и не нужно отвлекаться от самого стекла: дождь каждую минуту меняет на нем свой рисунок: то несутся по нему реки, тонкие и скрученные, как узбекские косички, то медленной волной проплывает розовая лава, раскаленная моим взглядом... Хорошо, что так тихо, пусто... А вот целое чудо: по всей площади стекла, как по зеркалу, катится единственная капля. Но дождь не кончится никогда, и капля растворится в целом море воды... Нужен ли человеку кто-то, чтобы раствориться в нем? В них?..» – Иванов откладывал ручку, смотрел на освещенный потолок, потом на желтую картину: может, вот этот след на мокрой глине оставила его нога? Или он уже за горизонтом? А может, его портрет должен состояться из каких-то отдельных линий, штрихов, мазков? Может, его нужно собирать как мозаику из редких шаров перекасти-поля на холсте, каких-то плоских, унылых камней, желтой ряби на воде?..

Он не находил себя.

А неделю назад картина рухнула. Глиняной тяжести желтой равнины не выдержал ржавый гвоздь, разогнулся. И мир изменился. В одну секунду равнина стала отвесной скалой, лужа почти водопадом, перекасти-поле обернулось первыми глыбами начинающегося камнепада. Но и здесь Иванова не было.

Он попытался водрузить картину на место, но слабый от старости гвоздь тут же сломался. Иванов с трудом придвинул кресло к стене, взобрался на него, как на сторожевую вышку, попытался вытащить обломок гвоздя. Но ржавый металл упорно сопротивлялся. Иванов ободрал до крови пальцы, перепачкал вельветовую писательскую куртку красной кирпичной трухой, но гвоздь не поддавался.

Иванов постучал в дверь номер три.

Гришак вышел, как Челубей на битву.

– Вася, дай плоскогубцы на минутку, – попросил Иванов.

Вася молча вернулся в свою комнату и принес плоскогубцы.

– И еще молоток, – дополнил Иванов, – и гвоздь побольше...

Гришак не отказал ни в молотке, ни в гвозде, вопросительно уставился на Иванова: что еще?

– Может, тебе и бетономешалку подать? – закричала откуда-то из глубины комнаты номер три Мария.

– Пока не нужна, – сказал Иванов и вернулся в свою комнату, пятую.

Против плоскогубцев обезглавленный гвоздь не устоял, был вытасчен, как гнилой зуб, вместе с деревянной пробкой, в которой, собственно, и держался в стене.

И в это время (судьбу караулит случай) в очередной раз кто-то щелкнул выключателем у входной двери, и комната погрузилась в кромешный мрак. И тут же черноту насквозь проколола светящаяся спица.

Иванов оторопел: откуда здесь взялся солнечный луч?

Он потянулся к нему рукой, и на ладони возник оранжевый кружок, золотая копейка.

Он взгромоздился на кресло и убедился, что свет исходит из крошечного отверстия в стене, возникшего в результате операции по удалению гвоздя. Иванов приник к нему, как к окуляру, но ничего не рассмотрел – пучок света был ярок и горяч, слепил глаза.

Он снова отправился к двери номер три.

– Вася, дай, пожалуйста, отвертку, – попросил он Гришака, – самую большую!

– Может, ты гарнитур мебельный купил? – высунулась из-за спины Гришака голова Марии, вся в бигудях, похожая на голову той самой медузы.

Гришак подал ему отвертку, и в гришаковских влажных глазах промелькнула тусклая искра: Вася уважал мастеровщину; люди с коловоротами, ломами, паяльниками, рулонами обоев были ему очень дороги, потому что от них было много всякой пользы.

Иванов взял отвертку и вернулся в свою комнату.

Особых усилий не потребовалось. Наверное, торопливые каменщики в свое время переборщили в растворе с песком, а может, вообще обошлись без цемента, потому что едва он приступил к стене с отверткой, как посыпалась на пол строительная труха и первый кирпич оказался в его руках.

За ним второй, третий, четвертый...

В комнату номер пять вошли лето, солнце, зной: в проеме небрежно сложенной стены Иванов увидел небольшую комнатку – три метра на три, а может и меньше, но в комнатке этой было окно – тоже совсем небольшое, под самым потолком, с занесенным пылью стеклом, но через стекло было видно голубое – без облаков, без туч, без дождя – небо.

Должно быть, строители, выгораживая из обширного коммунального коридора келью номер пять, решили не возиться с подсобной комнаткой – просто заложили ее, как бы не было вовсе этих квадратных метров общей квартирной площади. А может, здесь водилось вредное привидение, и каменщики поставили на его пути кирпичную стену, ненадежную, однако.

Чуть не половину комнаты занимал узкий деревянный топчан, рядом с ним стоял исправный с виду велосипед, а на полу горбился пропыленный ворох журналов, газет, серых коленкорových книг. Иванов напряг зрение и прочитал название одной из них: «Устав караульной службы». «Полезная книга, прямая и правдивая, – подумал он. – На велосипеде тоже я давно не катался...»

В углу комнаты желтела раковина умывальника, а над ней почерневший водопроводный кран, из которого равномерно срывались тяжелые капли воды. Рядом с раковиной над полом возвышался, как плаха, унитаз. «Тут что-то вроде бытовки было», – догадался Иванов.

И все-таки главным в комнате было окно. Когда успел кончиться дождь за ним? Откуда взялось солнце?

Иванов легко спрыгнул с кресла, выскользнул в коридор, осторожно приотворил за собой дверь. Из комнаты номер четыре навстречу ему вышел суровый партийный алкоголик Иван Павлович, марксист, закаленный борец с троцкизмом и оппортунизмом.

– Завтра в десять! – сказал он, распространяя летучий аромат разливного азербайджанского вина. – Без опозданий!..

– Конечно! – Иванов не умел отказывать, но ему хотелось хотя бы намекнуть на то, что произойдет завтра.

– Не забудь награды! – строго приказал Иван Павлович.

– У меня нет наград, только памятная медаль «30 лет освоения целины...»

– Очень хорошо! – похвалил старый партиец. – Медаль за бой, медаль за труд – из одного металла льют!..

– Из латуни, – подсказал Иванов.

Иван Павлович внимательно посмотрел на него, как бы издалека, вздохнул:

– Эх, молодежь!.. Ничего не знаете, но не ваша вина... Тебя Родина наградила а ты говоришь «латунь». Эта латунь дороже золота!..

– Наверное, – сказал Иванов.

– Примешь немного? – спросил ветеран, таинственно улыбаясь.

– Водки? Вина?..

– Вино кончилось, оно всегда быстро кончается. Осталась пролетарская! За наш праздничек!

– А! – вспомнил Иванов. – Завтра и демонстрация будет?..

Про себя подумал: «Откуда же солнце и зной в окне открытой им комнатки, на дворе-то, оказывается, ноябрь?»

– Будет, будет демонстрация! – сказал Иван Павлович и увлек писателя в свою, набитую добром, как сундук, комнату, усадил на пузатый диван под портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского, налил по стаканчику пролетарской, вытащил из пожелтевшего от скуки холодильника полкруга засохшей колбасы, предложил:

– За партию, а?! За Ленина, а?! За Сталина, а?! За товарища Кржижановского?! А?!

– Иван Павлович, хотите купить мою комнату?..

– Купить?! – едва не подавился водкой партиец.

– Ну да.

– Шутишь?

– Я, может быть, уеду скоро...

– Вера! – зычно гаркнул марксист. – Вера! Нинка! Петька!

Выкликнутые немедленно появились рядом с диваном.

Иванов оторопел: где же были они секунду назад? Может, болтались на вешалках в необъятном шифоньере? Или лежали, как стопка белья, в похожем на пиратский галеон комод? Или маялись невидимыми в глубине трельяжей, трюмо, овальных, квадратных – в рамках и без них – зеркал?

– А Колька где? – спросил Иван Павлович.

– За горохом поехал, забыл? – ответила Вера, жена и соратница. Если бы она была заключена не в синий габардиновый сарафан с помидорной кофточкой, а в мужской костюм из этой же благородной материи, то отличить ее от мужа было бы невозможно. И лицом, и фигурой – всей крупной статью, сверкающим взором – она была точной копией Ивана Павловича. И запах азербайджанского портвейна был тот же.

Детишки – Нинка, девушка с веслом, и Петька, неисправимый комсомолец, борец вольного стиля, интеллигент, – тоже были срублены по тому же образцу.

– А Вовка?

– Гуляет он, известно...

– Вот, гаденыш, пропивает денежки!.. Ну а Василий где болтается?

«Господи, сколько же их здесь живет?» – с ужасом подумал Иванов.

– Васька, котяра, у Зойки...

– Вот это хорошо! – одобрил Иван Павлович. – Может, женится...

– Ага! – неопределенно сказала девушка с веслом.

– Молчи, бестолочь! – приказал отец. – В общем, дело такое: человек комнату уступить хочет... недорого...

– Какой человек? – спросил Петька.

– Вот человек, раскрой глаза! – Иван Павлович жестом пролетарского вождя указал на Иванова.

Удовлетворение и понимание легко прочитались в глазах дружной семьи. В самом деле, для чего одному малополезному члену общества занимать столько жилплощади? Хорошо, что он сам понял.

– Покидаешь нас? – спросила Вера.

– В некотором роде, – ответил Иванов.

– Да что там! – помог ему Иван Павлович. – Надоела ему наша коммунальная кислятина! Он человек молодой, умный, ему перемена мест полезна. А мы поможем... в меру сил и средств... Он, глядишь, что-нибудь хорошее про нас в журнальчике тиснет. Тиснешь?..

– Само собой! – пообещал Иванов.

Иван Павлович махнул рукой на жену и детишек; те снова пропали в тяжелых пыльных коврах, высоких, как эшафоты, кроватях, пирамидах подушек, частоколе стульев и этажерок.

– Сколько ты хочешь? – спросил Иван Павлович. – Пятьсот американских зелененьких могу дать... И телевизор черно-белый, «Рекорд» называется...

– Не нужен мне телевизор.

– И литр столичной разопьем, с моей закусью...

– Я подумаю до завтра, – сказал Иванов и стал выбираться из комнаты ветерана.

– Не передумаешь? – спросил вслед Иван Павлович.

– Вряд ли! – пообещал писатель осени.

Он вернулся в свою посветлевшую комнату, уселся в кресло, задумался. «Чем жив человек? – размышлял он. – Всем известно, что надеждами. Самый серый, самый маленький, самый большой – все вокруг чего-то ждут. Вот сейчас, совсем скоро по телевизору разовьется мексиканская любовь, а чуть позже пойдет познавательная передача о мочекаменной болезни. Есть чего ждать! А послезавтра на родном кожевенном заводе выдача жалования, а там рукой подать до национального праздника всех народов – Нового года. Дальше неизвестность, но может быть, она полна счастливыми минутами: вдруг, наконец, найдется утерянный прошлой осенью в автобусе профсоюзный билет? Или удастся выиграть в спортивной лотерее хоть какой-нибудь приз – китайский цветастый термос или лопухий вентилятор?

Надежды – лекарство для ходячих больных. А если нет мочи встать?..»

Он снова вышел в коридор и остановился у двери номер три.

– Мария! – позвал он.

Щелкнул замок, и дверь приоткрылась, придерживаемая стальной собачьей цепью.

– Ну! – сказала почти невидимая Мария.

– Я уехать собираюсь, Маша, – сказал Иванов.

– На Северный полюс, что ли?..

– Ближе...

– К брату в Сыктывкар?.. Нужен ты ему, как заноза в заднице...

– Я и здесь никому не нужен...

– Не скули! – чуть пошире приоткрыла дверь она. – Не разжалобишь! Найди себе бабу хорошую и живи как человек. Под ноги больше смотри, а не на потолок. На потолке пауки живут, а люди внизу, понял?..

– Да, – ответил он. – Хочешь, я тебе стихи последние прочитаю?

– Вот этого не надо, без стихов тошно...

– Конечно, без стихов тошно, – сказал он и добавил: – Ну ладно, пока!

– Пока! – ответила она и прикрыла дверь.

Ночью он начал новый рассказ, скорее даже эссе об осеннем одиночестве, неприкаянности человека, необъяснимости жизни и бесконечности холодного, равнодушного времени. Он написал несколько страниц, перечитал: недлинно, ясно, по-русски – что еще нужно для приличной прозы? Рассказ начинался словами: «Я думал, что дождь – навсегда...»

Наутро он не стал даже бриться, зачем, если все равно бороду отращивать? – и отправился по магазинам. Товар выбирал скромный – по деньгам, – но питательный: вермишелевые супы в пакетах, бульонные кубики, консервированные кильки в томате, рожки и простую серую вермишель. Купил сухого молока, тушенки, консервированных субпродуктов – еле дотащил до дома.

Постучался к Ивану Павловичу:

– Гони пятьсот долларов!

– Хитер, бродяга! – засмеялся борец за светлое коммунистическое будущее.

– Сначала надо бумаги оформить!

Иванов ужаснулся:

– Это же на годы растянется!

– Плохо ты знаешь нас, ветеранов!

И действительно, пришлось всего полдня мотаться по конторам и кабинетам, стучаться в двери и скрестись в окошечки. К вечеру были поставлены все печати, штампы и подписи на ворохе разноцветных бумажек. Иван Павлович протянул писателю, ставшему бездомным, четыре сто долларовых купюры.

– Где еще сотня? – спросил обескураженный Иванов.

– Ты думаешь, документы задарма оформляются? – ответил Иван Павлович.

– А телевизор как же? А литр водки?

– Это будет.

– Телевизор можете себе оставить. За это у меня одна просьба. Когда я уеду, повесьте на прежнее место картину... На той картине где-то есть я... Но где – не знаю, художник не сказал.

– Картина не помешает, – сказал новый хозяин комнаты номер пять, – пусть стены ободранные пока прикрывает...

На следующий день Иванов купил еще тушенки, вермишели, бульонных кубиков. И целый куль развесного грузинского чая. Обзавелся электроплиткой, кастрюлей, электрочайником. В писчебумажном магазине купил три сотни школьных тетрадей – чуть не полпуда. Дождался вечера и отправился на прогулку. Как всегда, моросил дождь, на улицах было безлюдно, темно, тревожно. Светофоры на пустынных перекрестках не давали забыть о покинутости и обреченности города. Редкие машины проносились на огромной скорости, спасаясь от одиночества.

«Вряд ли я вернусь когда-нибудь сюда», – без грусти подумал Иванов. Он давно уже не любил этот город – с той же силой, что прежде любил. Он ненавидел натянутые струны троллейбусных проводов – они казались проволокой, вдоль которой бегают на цепи собаки и люди. Он ненавидел вагоновожатых, которые всю жизнь притворяются, что управляют трамваями, а трамваи послушны только судьбе, которая называется у них рельсами. Он содрогался при виде памятников – конные и пешие, не улыбкающие, затекшие в напряженных позах, они строго следили бронзовыми глазами за оставшимися в живых, как стервятники. Он не мог смотреть на горящие, как камин, витрины магазинов; особенно пугали его манекены, нарядные глиняные вампиры – они давно уже высосали всю кровь из блудливых продавщиц, из прикованных к шелкающим аппаратам кассирш, и печальных от необходимости перетаскивать с места на место чужое добро грузчиков, и уже подбирались к редким прохожим, тянули к улицам холодные, жесткие руки. Он не любил почтамты и телеграфы – там было больше вранья, чем в газетах, а в телефонных будках висели черные тяжелые трубки, которые за деньги норовили вцепиться своими пластмассовыми зубами прямо в сердце. Однажды, когда у Иванова случился небольшой гонорар, он пришел к междугородному телефону и, сам не зная почему, позвонил по давнишнему номеру в далекий город, прилепившийся сейсмоустойчивыми фундаментами к отрогам Тянь-Шаня, и ему ответил молодой, как тридцать лет назад, голос Марии.

– Але, але! – закричал Иванов.

– Да! Да! – ответил голос.

– Это я! – сошел с ума Иванов.

– Слышу, я слышу!.. Почему так долго не звонил?..

– Не мог, – пробормотал он. – Жизнь заела...

Она засмеялась звонко, весело:

– Что заело?..

Давным-давно он увез Марию из этого города, она никогда больше туда не возвращалась, но голос ее почему-то остался там. А может быть, не только голос? А ведь только утром он видел, как она несла из кухни в комнату номер три кастрюлю с лапшой – Гришак любил наваристую куриную лапшу, – как же теперь могла Мария говорить с ним из междугородней трубки?

– Мария? – спросил он по телефону.

– Ну а кто же еще? – откликнулась она. – Ты какой-то странный...

– Какое сегодня число? – спросил он.

– Конечно же, тридцатое, вот чудак!

Он взглянул на календарик наручных часов. Календарик показывал двадцать девятое февраля.

– А год какой?..

Она помолчала немного, произнесла негромко:

– Это точно ты? Впрочем, кому еще придет в голову использовать междугородную связь для идиотских вопросов?.. Скоро приедешь?..

– Скоро, совсем скоро! – пообещал он и повесил трубку.

Месяца через два он снова набрал знакомый номер.

Мария ответила:

– Слушаю! Это снова ты?..

Он долго молчал, слушал ее голос:

– Говори же, говори... Пожалуйста, не молчи... Что случилось у тебя, что?..

Он больше никогда не звонил туда, размышлял: может, осталась в том городе у Марии племянница или младшая сестра? Или дальняя родственница? А может... Все может быть...

Иванов не любил театр. Там все было похоже на правду, но не было правдой: парики, грим, закулисный сумрак, притворство, быстрая и легкая с виду любовь, бутафорские пистолеты и пузырек валерьянки рядом с тюбиком вазелина...

Он давно не мог заставить себя пойти в кино. Он не хотел смириться с тем, что, как ни крути, ни верти, а на экране все плоско.

Он боялся милиционеров. Ему мнилось, что вместе с пистолетами они получают путевки на отстрел двух-трех неудачников.

Он презирал дворников, своими жесткими метлами они сдирали с асфальта вчерашний день и загружали его в мусоровозы.

Он опасался ночи, темноты, не доверял дневному свету.

Иванов не любил в этом городе все.

На центральной площади города затеяно было строительство очередного фонтана, символизирующего безграничную власть народных вождей над стихией, когда любая струя бьет только в указанном направлении. Днем у фонтана возились зодчие в оранжевых касках, вели наступление, а вечером над пустынным объектом болталась слабосильная лампочка, и каждый мог подойти ближе, проникнуться величием замысла. Иванов подошел, извлек из кармана целлофановый пакет, осмотрелся, обнаружил металлический короб с цементом и насыпал в пакет тяжелого серого порошка. Туда же набросал пригоршнями песку. Сверху куча песка была влажна, холодна, но стоило копнуть немного, и песок внутри оказался почти горячим, как в Сахаре.

Иванов вернулся в свою комнату, стал укладывать вещи. Набралось почти две сумки: рукописи, теплая и выходная рубахи, костюм-тройка с атласным жилетом, зимние ботинки, одеяло, домашние тапочки, немного белья, самопишущие ручки с пузырьками фиолетовых чернил, аспирин, валерьянка...

Он вытащил из стены еще несколько кирпичей и легко перелез в таинственную, забытую всеми комнатку. Перенес туда сумки с вещами, коробки с провизией, посуду, стопки тетрадей, пакет с цементом и песком, вынутые из стены кирпичи. Попытался открыть водопроводный кран, и ему это удалось почти без усилий.

Он смахнул с топчана пыльное барахло, расстелил одеяло и лег, закрыл глаза. «Вот так, – подумал он, – я еще жив...». И вдруг ему вспомнилась давнишняя детская считалка. Много лет назад он стоял лицом к стене дровяного сарая и произносил слова этой считалки, пока его голоногие друзья – Вадька, Колька, Наташка и Серега – прятались от него в тайные местечки огромного, захламленного городского двора. Никому не хотелось водить в этой игре, всем хотелось прятаться – чтобы тебя искали. А считалка была странная: «Раз, два, три, четыре... десять – царь велел меня повесить. Я висел, висел, висел, ветер дунул – я слетел. Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать! Кто не спрятался – я не виноват!..»

Не все успевали укрыться от зорких глаз водящего – и он не был виноват перед ними, кричал, что было сил:

– Вижу! Вижу! Выходи! Я тебя застукал!

Иванов усмехнулся и спросил негромко:

– Ну что, кто тут еще не спрятался?..

Никто ему не ответил.

Строгий марксист Иван Павлович два дня и две ночи с нетерпением ожидал, когда же придет прощаться и передавать ключи от комнаты номер пять мелко-травчатый писатель Иванов, но напрасно.

Утром третьего дня Иван Павлович решительно постучал в дверь напротив. В ответ ни звука. Он постучал еще решительней, и дверь отворилась. В комнате с ободранными, грязными стенами никого не было. Провисшая унылая раскладушка, засыпанное штукатуркой, заляпанное цементным раствором кресло и непонятная картина с желтой страшной пустыней – вот и все, что здесь было. Мерзость, беспорядок, неодушевленность.

– Вера! Нинка! Петька!.. – позвал Иван Павлович, и дружная семья выросла у него за спиной.

– Всю эту дрянь, – обвел он рукой комнату, – на свалку! Хотя картину можно оставить, вдруг дорогая? И сегодня же начнем штукатурить, белить, красить!.. Тут работы на год, но сделаем не комнату – конфетку!..

Но Иван Павлович ошибся, ремонт был закончен в считанные дни. Сказались пролетарские навыки, дисциплина и целеустремленность. Комната засияла чистой и уютно. Из нее исчезли мохнатые пауки, бледные электрические бабочки, раздраженные осенние мухи – в комнату вместе с диваном, телевизором, торшером, журнальным столиком, трельяжем и вазой с восковыми цветами пришло лето.

Иван Павлович был доволен, еще бы! Но иногда он смотрел на пустыню, заключенную в багет, и странное тревожное чувство посещало его, как будто на самом деле где-то на картине находился писатель Иванов и прекрасно знал, что происходит в комнате номер пять. Иван Павлович отгонял наваждение стаканом портвейна; портвейн и от других болезней помогал.

А Мария об Иванове не вспомнила ни разу.

Известный казахстанский прозаик, эссеист, переводчик Геннадий Николаевич Доронин родился в июне 1945 года в городе Уральске. Окончил факультет журналистики КазГУ. Работал в районных, областных газетах, на областном телевидении, в республиканской газете «Казахстанская правда». Член Союза писателей Казахстана и России. Автор более десяти книг прозы: «Глагол прошедшего времени», «Бершарал», «Между пунктами назначения», «День любви», «Жизнь и смерть Буратино», «Золоченое донышко», «Свет земной», «Он и она», «Остров» и других. Рассказы Г. Доронина вошли в антологию «Современное русское зарубежье», в антологию современной казахстанской литературы (Москва, Худлит). Живет в Минске.

Редакция журнала «Простор» поздравляет с 75-летием своего постоянного автора, подарившего читателям встречу с удивительными мирами, где прошлое, настоящее и будущее фантазмагорически переплетаются и всегда остаются с нами, наделяя надеждой, что и наш собственный хрупкий мир никогда не исчезнет. Новых Вам талантливых книг, дорогой Геннадий Николаевич, здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

